

Говард Филлипс Лавкрафт

Музыка Эриха Занна

(The Music of Erich Zann)

С преобладающим старанием разбирался я в картах города, но рю д'Осей так больше и не нашел. И это были не только самые последние карты, ибо названия меняются, и я это знаю. Нет, я рылся в глубокой городской старине и самолично перепробовал все места, как бы они ни назывались, которые могли соответствовать улице, известной мне как рю д'Осей. Но, что бы ни делал, я не могу найти — и это унижительный факт — ни дома, ни улицы, ни даже окрестностей, где в последние месяцы моего скудного существования университетского любителя метафизики услышал я музыку Эриха Занна.

Что у меня отшибло память, это меня не удивляет: самочувствие мое — и физическое, и душевное — было серьезно расстроено в течение всего моего жительствова на рю д'Осей, и я припоминаю, что не важивал туда никого из немногих своих знакомых. Но чтобы я не мог найти того места снова, одновременно и необычно, и смущает; ведь оно было в полудне ходьбы от университета и отличалось такими странностями, которые едва ли забудешь, стоит там побывать. Я ни разу не встречал человека, который видел бы рю д'Осей.

Эта самая рю д'Осей лежала за мрачной рекой, зажатой двумя рядами высоких кирпичных амбаров с мутными стеклами, и пересекалась тяжеловесным мостом из темного камня. Над рекой всегда висел полумрак, словно чад от соседних фабрик вечно затмевал солнце. К тому же река издавала зловоние, какого я больше нигде не слышал и которое вдруг да поможет однажды ее найти, поскольку я должен узнать этот смрад моментально. За мостом шли узкие, мощенные булыжником улочки с поручнями; потом начинался подъем, сперва плавный, а на подступах к рю д'Осей невероятно крутой.

Другой такой узкой и крутой улицы, как рю д'Осей, я не видывал. Эта почти отвесная круча заказана была для всякого транспорта, в нескольких местах поднимаясь лестничными маршами и заканчиваясь на самом верху высокой, повитой плющом стеной. Тротуар был неровным — то булыжники, то брусчатка, то голая земля с пробивающейся иссера-зеленой растительностью. Высокие дома с островерхими кровлями, невероятно старые, клонились как попало вправо и влево, вперед и назад. Случалось, супротивная пара, клонясь друг другу навстречу, почти сходилась над улицей, словно арка, застилая проходим весь свет. Через мостовую от дома к дому перекидывалось над головой несколько мостиков.

Обитатели рю д'Осей оказывали на меня странное впечатление. Сперва я думал, это оттого, что все они были нелюдимы и молчаливы, но потом решил, это оттого, что все они очень старые. Не знаю, как меня угораздило поселиться на такой улице, но я был сам не свой, когда переехал туда. Я жила по разным убогим углам, постоянно выдворяемый за неимением денег, пока наконец не напал на ту развалюху, готовую того и гляди рухнуть, содержащуюся параличным Бландо. Это был третий дом по улице сверху и порядком выше всех остальных.

Моя комната была на пятом этаже; и единственная на весь этаж с постояльцем, поскольку дом почти пустовал. В вечер своего приезда я услышал странную музыку с мансарды под островерхой крышей и на другой день спросил об этом Бландо. Он стал рассказывать, что это старый немец, скрипач-альтист, немой со странностями, подписывающийся именем Эриха Занна; по вечерам он играл в оркестре какого-то дрянного театра, что и послужило причиной его выбора — он жил в высокой на отшибе мансарде, узкое окно которой являлось той единственной на всю улицу точкой, откуда можно было посмотреть поверх замыкающей стены на склон и панораму вдаль.

С того времени я слышал Занна каждую ночь, и хотя он не давал мне спать, не мог отделаться от причудливого обаяния его музыки. Не являясь большим знатоком в этом искусстве я тем не менее был уверен, что ни одна из его композиций не имела ничего общего с музыкой, слышанной мною раньше; и заключал, что как композитор он одарен чрезвычайно оригинальным талантом. Чем дольше я слушал, тем сильнее очаровывался, пока неделю спустя не решился свести знакомство со стариком.

Как-то вечером, когда он шел из театра, я перехватил Занна на лестничной площадке, говоря, что хотел бы с ним познакомиться и побыть у него, когда он играет. Он был маленьким, щуплым, сторбленным человечком, уродливым, как сатир, с голубыми глазами, почти без волос и в обносках; он будто разом был напуган и рассержен первыми же моими словами. Явное мое дружелюбие, однако, в конце концов смягчило его; он нехотя сделал мне знак подниматься за ним под крышу по темной скрипучей лестнице с расшатанными ступеньками. Его комната, одна из двух в мансарде, была на западной стороне и смотрела на высокую стену, замыкающую верхний край улицы. Огромная по размеру, она казалась еще больше из-за невероятной пустоты и запущенности. Из обстановки была лишь узкая железная лежанка, умывальник в грязных пятнах, столик, объемистый книжный шкаф, железный пюпитр для нот и три старомодных стула. Нотные листы беспорядочно грудились на полу. Стены из голых досок, похоже, не знавали штукатурки; обилие паутины и пыли придавало всему вид заброшенный и отнюдь не жилой. Красота для Эриха Занна явно жила в космических далях воображения.

Усадив меня жестом, немой старик затворил дверь, замкнул массивный деревянный засов и зажег свечу в придачу той, что принес с собой. Потом он извлек скрипку из потраченного футляра и уселся с ней на менее неудобный из стульев. Он не стал устанавливать нот на пюпитре, а, не предлагая мне выбора и играя по памяти, заморозил меня на целый час созвучиями, никогда мною прежде не слышанными, — наверное, его собственного сочинения. Описать в точности их природу невозможно для несведущего в музыке человека. Это была своего рода fuga с повторяющимися пассажами самого чарующего свойства, но для меня более примечательная полным отсутствием нездешних звуковых вибраций, подслушанных мною из моей комнаты.

Те созвучия неотвязно сидели у меня в памяти, и я часто их напевал про себя или неверно насвистывал, так что, когда музыкант наконец опустил смычок, я попросил его исполнить какие-нибудь из них. Стоило мне приступить к нему с такой просьбой, как с его сморщенного лица сатира слетели скука и безмятежность, написанные на нем во время игры, и опять показалась та удивительная смесь гнева и страха, которую я заметил, когда заговорил со стариком в первый раз. Снисходя к старческим капризам, я готов был

взяться его убеждать и даже попытался пробудить в моем хозяине более прихотливый настрой, насвистав некоторые созвучия из слышанных вечером накануне. Но это продолжалось не дольше минуты, ибо как только немой музыкант узнал насвистываемую мелодию, лицо его передернулось выражением, не поддающимся никакому разбору, и худая старческая рука потянулась зажать мне рот. При этом он выказал и дальнейшую свою эксцентричность, боязливо оглядываясь на единственное зашторенное окно, словно страшась некой интрузии — оглядка, вдвойне нелепая, поскольку высокая и недосыгаемая мансарда вздымалась надо всеми примыкавшими крышами, превращая окно в ту одну точку на всей крутой улице, откуда было возможно, как сказал мне консьерж, увидеть через стену верхний ее край.

Брошенный стариком взгляд привел мне на ум фразу Бландо, и я решил окинуть взглядом головокружительную и пространную панораму залитых луной крыш и городских огней за вершиной холма, которая — изо всех обитателей рю д'Осей — открывалась лишь этому вздорчивому музыканту. Я двинулся к окну и отвел было в сторону невзрачные шторы, когда с яростью испуга, еще больше прежнего, немой жилец мансарды снова набросился на меня; на сей раз кивая головой на дверь и нервически сисясь обеими руками меня к ней подтащить. Я попросил меня отпустить и сказал этому опротивевшему мне человеку, что тотчас уйду. При виде моего отвращения и обиды собственный его гнев, кажется, поутих и хватка его ослабела, когда он вдруг снова за меня ухватился, на сей раз дружеским образом, и усадил на стул; потом, пройдя с тоскливым видом по комнате к захламленному столику, пустился многословно писать карандашом на том вымученном французском, по которому сразу был виден иностранец.

Записка, наконец мне врученная, призывала к терпимости и прощению. Занн писал, что он стар, одинок и страдает странными страхами и нервным расстройством, связанным с музыкой и другими вещами. Он порадовался, что я услышал его игру, и хотел бы, чтобы я снова пришел и не обижался на его эксцентричность. Но свои фантастические созвучия он не может играть ни при ком и не выносит их слышать ни от кого; как не выносит, чтобы кто-то касался чего бы то ни было в его комнате. До нашего разговора в коридоре он не знал, что в моей комнате слышна его игра, и теперь он просит, не уговорюсь ли я с Бландо и не сниму ли комнату ниже, где бы я не слышал его по ночам. Издержки платы, писал Занн, он бы взял на себя.

Пока я сидел, разгадывая его отвратительный французский, мои чувства к старику несколько смягчились. Он был жертвой физических и нервных страданий, как и я сам, а занятия метафизикой преподали мне душевную доброту. В тишине от окна долетел легкий звук — наверное, ночной ветер стукнул ставнем, — но по неизвестной причине я содрогнулся почти так же мучительно, как и Эрих Занн. Итак, дочитав, я простился с хозяином за руку и отбыл как друг.

На другой день Бландо сдал мне комнату подороже на третьем этаже, между апартаментами престарелого ростовщика и комнатой почтенного обойщика мебели. На четвертом этаже постояльцев не было.

Вскоре я обнаружил, что Занн совсем не такой охотник до моего общества, как мне показалось, пока он убеждал меня переехать с пятого этажа. Он не приглашал меня заходить, а если я и наведывался, выглядел беспокойно и играл вяло. Это происходило

всегда по ночам — днем он спал и никого не впускал. Нравиться больше он мне не стал, но мансарда и нездешняя музыка наводили на меня некое странное обаяние. Я испытывал удивительное желание посмотреть из его окна на переливчатый блеск шпилей и крыш, раскинувшихся, наверное, по незримому склону; однажды я взошел на мансарду в часы спектакля, когда Занн отсутствовал, но дверь была на запоре.

В чем я преуспел, так это в подслушивании, когда немой старик играл по ночам; поначалу я прокрадывался на цыпочках на свой прежний пятый этаж, потом осмелел до того, что по последним ступеням взобрался на самую острроверхую крышу. Там, на узкой площадке под запертой дверью, часто слышал я звуковые вибрации, исполнявшие меня неизъяснимого страха и трепета — трепета смутного восхищения и лелеющей себя тайны; страшное было не то чтобы в звуках, не в них самих — страшное было в том, что они производили вибрации, дававшие знать о том, чего не бывает на этом земляном шаре, и в том, что с известными промежутками они принимали свойство многоголосия, которое, по моему разумению, едва ли могло быть достигнуто игрой в одиночку. Без сомнения, в Эрхе Занне жил гений неистовой силы. Неделя шла за неделей, игра становилась все необузданней, а старый скрипач впадал все больше в изнеможение и скрытность, так что жалость брала смотреть на него. Теперь он отказывался впускать меня в любое время и сторонился, если нам случалось встречаться на лестнице.

Потом как-то ночью, когда я слушал под дверью, визжащая скрипка разразилась разноголосым хаосом звуков; эта крошечная свистопляска ввела бы меня в сомнение насчет собственного пошатнувшегося рассудка, если бы из-за забранной на засов двери не пришло плачевного подтверждения, что этот кошмар реален — ужасный, нечленораздельный крик, который может издать только немой, выпускаемый лишь в минуты самого жуткого страха или тоски. Я стучал снова и снова в дверь, не получая ответа. Потом ждал во мраке площадки, исходя дрожью от холода и страха, пока не расслышал слабых попыток несчастного музыканта подняться при помощи стула. Считая, что он только что пришел в сознание после обморока, я опять застучал, ободряюще называя свое имя. Я слышал, как Занн проковылял к окну, закрыл и ставни и шторы, потом доковылял до двери, мешкаясь, отворил и впустил меня. На сей раз мое присутствие пришлось ему действительно в радость; его искаженное лицо просветлело от облегчения, когда он хватался за мою куртку, как дитя хватается за материнские юбки.

Жалко дрожа, старик принудил меня сесть на стул, сам повалился на другой, возле которого на полу были брошены как попало его скрипка и смычок; некоторое время он бездеятельно сидел, странно покачивая головой, но всем своим видом парадоксально напоминая человека, напряженно и в полном испуге прислушивающегося. В результате как будто удовлетворенный, он пересел на стул у столика, коротко черкнув, передал мне записку, вернулся к столу, где и принялся быстро и безостановочно писать. Записка взывала, во имя сострадания и ради собственного моего любопытства, дожидаться, не сходя с места, пока он не даст на родном немецком полного отчета обо всех чудесах и страхах, которые обстояли его. Я ждал; перо немого так и летало.

Должно быть, час спустя, когда я все еще ждал, а лихорадочные писания старого музыканта все еще продолжали страница за страницей ложиться на бумагу, я увидел, как Занн привскочил, словно дало о себе знать некое ужасающее потрясение. Вперившись в

занавешенное окно, он с содроганием слушал, и в этом не могло быть ошибки. Потом то ли сам я расслышал, то ли мне почудился звук; звук был, однако, не страшный — скорее, неразлично тонкая и бесконечно далекая музыкальная вибрация, заставлявшая думать, что играют в одном из соседних домов или где-то по ту сторону высокой стены, за которую мне так и не удалось заглянуть. Действие, оказанное им на Занна, было ужасным, ибо, роняя перо, он внезапно поднялся, схватился за скрипку и разодрал ночь самыми неистовыми каденциями, какие когда-либо исходили из-под смычка.

Бесполезно было бы описывать игру Эриха Занна в ту страшную ночь. Ничего более ужасного я никогда не слышал, кроме того, теперь я мог видеть выражение его лица и понимал, что движет им чистый страх. Он старался наделать шума, от чего-то отгородиться, что-то от себя отвести, заглушить, но что именно, я не имел представления, хоть и чувствовал — оно внушало бы ужас и трепет. Игра становилась все затейливей, исступленней, истеричней, тем не менее до последнего сохраняя то высокое качество гениальности, которым, безусловно, обладал удивительный старик. Я узнал мелодию — это была необузданная венгерка, пользующаяся у публики популярностью, и мне пришло в голову в эту минуту, что я первый раз слышу, чтобы Занн играл сочинение другого композитора.

Выше и выше, неистовой и неистой слезный вой отчаянной скрипки. Музыкант исходил противоестественным потом и кривлялся, как обезьяна, все так же с безумным выражением лица уставясь на зашторенное окно. В бешеном напряжении всех его жил я почти видел тень сатиров и вакханок, пляшущих и вьющихся бездумно сквозь клокочущие пучины хмары, дыма и огненных сполохов. А потом мне послышалась мелодия более пронзительная и ровная, которая исходила как будто не от скрипки — спокойная, мерная, глумливая мелодия из далекой дали на западе.

Тут, на завывающем ночном ветру, который разгулялся снаружи, словно в ответ неистойой музыке в доме, загрохотал ставень. Истошно кричащая скрипка Занна превзошла самое себя, издавая звуки, какие, думается, она не способна издать. Ставень застучал громче, открылся и стал колотиться об окно. Потом от настойчивых ударов стекло разлетелось вдребезги, и в комнату ворвался ледяной ветер, от которого затрепетало свечное пламя и разлетелись листки со стола, исписанные Занном, пытавшимся выдать свой страшный секрет. Глядя на Занна, я понял, что он за гранью здравого разума. Голубые глаза выпучились из орбит, остекленелые и невидящие, и неистовая игра превратилась в бессмысленное, механическое, кошмарное беснование, на которое перо не даст и намека.

Внезапный порыв, сильнее остальных, подхватил рукопись и полетел с ней к окну. В отчаянии я поспешил за листками, но их сдунуло прежде, чем я подоспел к разбитым оконным переплетам.

Тут я вспомнил о своем старом желании посмотреть из окна, единственного на рю д'Осей, откуда можно увидеть склон по ту сторону и простиравшийся внизу город. Было очень темно, но должны были, как всегда, гореть городские огни, и я ожидал их увидеть в дожде и урагане. Однако, когда я посмотрел сквозь это высокое узкое окно, посмотрел при потрескивающем свечном пламени и безумно завывающей в лад с ночным ветром скрипке, я не увидел распростертого внизу города и дружелюбно поблескивающих огней

на знакомых улицах, но лишь черноты безграничных пространств, неисповедимый универсум, полный движения и музыки и не знающий подобия на земле. И пока я стоял так, в ужасе глядя в окно, ветер задул обе свечи в древней каморке под крутым кровельным скатом, оставив меня в лютой и непроницаемой тьме, где предо мной были хаос и свистопляска, а позади — дьявольское беснование исходившей ночным воем скрипки.

Нетвердо ступая во мраке, не имея возможности запалить свет, я налетел на стол, опрокинул стул и наконец добрался ощупью до того места, где тьма надрывалась убийственной музыкой. Попытки спастись самому и спасти Эриха Занна я не мог не сделать, какие бы силы мне ни противостояли. Раз мне почудилось какое-то леденящее прикосновение, и я завопил, но мой вопль не смог перекрыть чудовищной скрипки. Внезапно из темноты нанес мне удар обезумело снующий смычок, и я понял, что скрипач где-то рядом. Я на ощупь подался вперед, нашарил спинку Заннова стула, потом взял его за плечо и потряс, силясь вернуть его в чувство.

Он не отозвался, и скрипка все визжала, не утихая. Я передвинул руку к его голове, сумев остановить ее механическое покачивание, и прокричал ему в ухо, что мы оба должны бежать от незнаемой ночной нежити. Но он не ответил мне и не умерил неистовства своей неслыханной музыки; по всей же мансарде, в сумятице тьмы и звука, казалось, плясали странные струи ветра. Когда я коснулся рукой его уха, меня передернуло, отчего, я не знал — не знал, пока не задел неподвижного лица, как лед, холодного, застывшего, бездыханного лица, с бесполезно выпученными во мрак остекленелыми глазами. И тогда, каким-то чудом найдя дверь и громадный деревянный засов, я отчаянно ринулся прочь от истукана со стекляшками глаз и мерзопакостного воя окаянной скрипки, явившейся все больше уже в самое время моего бегства.

Скачками летя по бесконечным лестницам темного дома; опрометью на узкие крутые ступени улицы с покосившимися домами; с грохотом вниз по ступеням и булыжнику к более пологим улицам и смрадной теснине реки; не переводя духа по громадному темному мосту к более широким и здравоносным улицам и бульварам, знакомым нам, — вот те жуткие впечатления, так и не оставляющие меня. И припоминаю, что ветра не было и не было луны и что город мерцал всеми своими огнями.

Вопреки моим престарательным поискам и расспросам, я с тех пор так и не сумел отыскать рю д'Осей. Но я не особенно сожалею об этом и о пропавших убористо исписанных листках, которые одни только и могут пролить свет на музыку Эриха Занна.

Перевод: Нина Бавина

2011 год